О дивный новый мир

Автор:
Олдос Хаксли

О дивный новый мир

Олдос Леонард Хаксли

Эксклюзивная классика (АСТ)

«О дивный новый мир» – изысканная и остроумная антиутопия о генетически программируемом «обществе потребления», в котором разворачивается трагическая история Дикаря – «Гамлета» этого мира.

Олдос Хаксли

О дивный новый мир

Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать их окончательного осуществления… Утопии осуществимы… Жизнь движется к утопиям. И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу.

Николай Бердяев

Aldous Huxley

BRAVE NEW WORLD

Печатается с разрешения The Estate of Aldous Huxley и литературных агентств Reece Halsey Agency, The Fielding Agency и Andrew Nurnberg.

© Aldous Huxley, 1932

© Перевод. О. Сорока, наследники, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Глава первая

Серое приземистое здание – всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись: «ЦЕНТРАЛЬНО-ЛОНДОНСКИЙ ИНКУБАТОРИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», и на геральдическом щите – девиз Мирового Государства: «ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ».

Огромный зал на первом этаже обращен окнами на север, точно художественная студия. На дворе лето, в зале и вовсе тропически жарко, но по-зимнему холоден и водянист свет, что жадно течет в эти окна в поисках живописно драпированных манекенов или нагой натуры, пусть блеклой и зябко-пупырчатой, – и находит лишь никель, стекло, холодно блестящий фарфор лаборатории. Зиму встречает зима. Белы халаты лаборантов, на руках перчатки из белесой, трупного цвета, резины. Свет заморожен, мертвен, призрачен. Только на желтых тубусах микроскопов он как бы сочнеет, заимствуя живую желтизну, – словно сливочным маслом мажет эти полированные трубки, вставшие длинным строем на рабочих столах.

– Здесь у нас Зал оплодотворения, – сказал Директор Инкубатория и Воспитательного Центра, открывая дверь.

Склонясь к микроскопам, триста оплодотворителей были погружены в тишину почти бездыханную, разве что рассеянно мурлыкнет кто-нибудь или посвистит себе под нос в отрешенной сосредоточенности. По пятам за Директором робко и не без подобострастия следовала стайка новоприбывших студентов, юных,

розовых и неоперившихся. При каждом птенце был блокнот, и, как только великий человек раскрывал рот, студенты принимались яро строчить карандашами. Из мудрых уст – из первых рук. Не каждый день такая привилегия и честь. Директор Центрально-Лондонского ИВЦ считал всегдашним своим долгом самолично провести студентов-новичков по залам и отделам. «Чтобы дать вам общую идею», – пояснял он цель обхода. Ибо, конечно, общую идею хоть какую-то дать надо – для того, чтобы делали дело с пониманием, – но дать лишь в минимальной дозе, иначе из них не выйдет хороших и счастливых членов общества. Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частностей; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамочек составляют становой хребет общества.

«Завтра, – прибавлял он, улыбаясь им ласково и чуточку грозно, – наступит пора приниматься за серьезную работу. Для обобщений у вас не останется времени. Пока же…»

Пока же честь оказана большая. Из мудрых уст и – прямиком в блокноты. Юнцы строчили как заведенные.

Высокий, сухощавый, но нимало не сутулый, Директор вошел в зал. У Директора был длинный подбородок, крупные зубы слегка выпирали из-под свежих, полных губ. Стар он или молод? Тридцать ему лет? Пятьдесят? Пятьдесят пять? Сказать было трудно. Да и не возникал у вас этот вопрос; ныне, на 632-м году эры стабильности, Эры Форда, подобные вопросы в голову не приходили.

– Начнем сначала, – сказал Директор, и самые усердные юнцы тут же запротоколировали: «Начнем сначала». – Вот здесь, – указал он рукой, – у нас инкубаторы. – Открыл теплонепроницаемую дверь, и взорам предстали ряды нумерованных пробирок – штативы за штативами, стеллажи за стеллажами. – Недельная партия яйцеклеток. Хранятся, – продолжал он, – при тридцати семи градусах; что же касается мужских гамет, – тут он открыл другую дверь, – то их надо хранить при тридцати пяти. Температура крови обесплодила бы их. (Барана ватой обложив, приплода не получишь.)

И, не сходя с места, он приступил к краткому изложению современного оплодотворительного процесса – а карандаши так и забегали, неразборчиво строча, по бумаге; начал он, разумеется, с хирургической увертюры к процессу – с операции, «на которую ложатся добровольно, ради блага Общества, не говоря

уж о вознаграждении, равном полугодовому окладу»; затем коснулся способа, которым сохраняют жизненность и развивают продуктивность вырезанного яичника; сказал об оптимальной температуре, вязкости, солевом содержании; о питательной жидкости, в которой хранятся отделенные и вызревшие яйца; и, подведя своих подопечных к рабочим столам, наглядно познакомил с тем, как жидкость эту набирают из пробирок; как выпускают капля за каплей на специально подогретые предметные стекла микроскопов; как яйцеклетки в каждой капле проверяют на дефекты, пересчитывают и помещают в пористый яйцеприемничек; как (он провел студентов дальше, дал понаблюдать и за этим) яйце приемник погружают в теплый бульон со свободно плавающими сперматозоидами, концентрация которых, подчеркнул он, должна быть не ниже ста тысяч на миллилитр; и как через десять минут приемник вынимают из бульона и содержимое опять смотрят; как, если не все яйцеклетки оказались оплодотворенными, сосудец снова погружают, а потребуется, то и в третий раз; как оплодотворенные яйца возвращают в инкубаторы, и там альфы и беты остаются вплоть до укупорки, а гаммы, дельты и эпсилоны через тридцать шесть часов снова уже путешествуют с полок для обработки по методу Бокановского.

– По методу Бокановского, – повторил Директор, и студенты подчеркнули в блокнотах эти слова.

Одно яйцо, один зародыш, одна взрослая особь – вот схема природного развития. Яйцо же, подвергаемое бокановскизации, будет пролиферировать – почковаться. Оно даст от восьми до девяноста шести почек, и каждая почка разовьется в полностью оформленный зародыш, и каждый зародыш – во взрослую особь обычных размеров. И получаем девяносто шесть человек, где прежде вырастал лишь один. Прогресс!

– По существу, – говорил далее Директор, – бокановскизация состоит из серии процедур, угнетающих развитие. Мы глушим нормальный рост, и, как это ни парадоксально, в ответ яйцо почкуется.

«Яйцо почкуется», – строчили карандаши.

Он указал направо. Конвейерная лента, несущая на себе целую батарею пробирок, очень медленно вдвигалась в большой металлический ящик, а с другой стороны ящика выползала батарея уже обработанная. Тихо гудели машины. Обработка штатива с пробирками длится восемь минут, сообщил

Директор. Восемь минут жесткого рентгеновского облучения – для яиц это предел, пожалуй. Некоторые не выдерживают, гибнут; из остальных самые стойкие разделяются надвое; большинство дает четыре почки; иные даже восемь; все яйца затем возвращаются в инкубаторы, где почки начинают развиваться; затем, через двое суток, их внезапно охлаждают, тормозя рост. В ответ они опять пролиферируют – каждая почка дает две, четыре, восемь новых почек, – и тут же их чуть не насмерть глушат спиртом; в результате они снова, в третий раз, почкуются, после чего уж им дают спокойно развиваться, ибо дальнейшее глушение роста приводит, как правило, к гибели. Итак, из одного первоначального яйца имеем что-нибудь от восьми до девяноста шести зародышей – согласитесь, улучшение природного процесса фантастическое. Причем это однояйцевые, тождественные близнецы – и не жалкие двойняшки или тройняшки, как в прежние живородящие времена, когда яйцо по чистой случайности изредка делилось, а десятки близнецов.

– Десятки, – повторил Директор, широко распахивая руки, точно одаряя благодатью. – Десятки и десятки.

Один из студентов оказался, однако, до того непонятлив, что спросил, а в чем тут выгода.

– Милейший юноша! – круто обернулся к нему Директор. – Неужели вам не ясно? Неужели не яс-но? – Он вознес руку; выражение лица его стало торжественным. – Бокановскизация – одно из главнейших орудий общественной стабильности.

«Главнейших орудий общественной стабильности», – запечатлелось в блокнотах.

– Она дает стандартных людей. Равномерными и одинаковыми порциями. Целый небольшой завод комплектуется выводком из одного бокановскизированного яйца.

– Девяносто шесть тождественных близнецов, работающих на девяноста шести тождественных станках! – Голос у Директора слегка вибрировал от воодушевления. – Тут уж мы стоим на твердой почве. Впервые в истории. «Общность, Одинаковость, Стабильность», – проскандировал он девиз планеты. Величественные слова. – Если бы можно было бокановскизировать беспредельно, то решена была бы вся проблема.

Ее решили бы стандартные гаммы, тождественные дельты, одинаковые эпсилоны. Миллионы однояйцевых, единообразных близнецов. Принцип массового производства, наконец-то примененный к биологии.

– Но, к сожалению, – покачал Директор головой, – идеал недостижим, беспредельно бокановскизировать нельзя.

Девяносто шесть – предел, по-видимому; а хорошая средняя цифра – семьдесят два. Приблизиться же к идеалу (увы, лишь приблизиться) можно единственно тем, что производить побольше бокановскизированных выводков от гамет одного самца, из яйцеклеток одного яичника. Но даже и это – непросто.

– Ибо в природных условиях на то, чтобы яичник дал две сотни зрелых яиц, уходит тридцать лет. Нам же требуется стабилизация народонаселения безотлагательно и постоянно. Производить близнецов через год по столовой ложке, растянув дело на четверть столетия, – куда это годилось бы?

Ясно, что никуда бы это не годилось. Однако процесс созревания в огромной степени ускорен благодаря методике Подснапа. Она обеспечивает получение от яичника не менее полутораста зрелых яиц в короткий срок – в два года. А оплодотвори и бокановскизируй эти яйца – иначе говоря, умножь на семьдесят два, – и полтораста выводков составят в совокупности почти одиннадцать тысяч близнецовых братцев и сестриц с всего лишь двухгодичной максимальной разницей в возрасте.

– В исключительных же случаях удается получить от одного яичника более пятнадцати тысяч взрослых особей.

В это время мимо проходил белокурый, румяный молодой человек. Директор окликнул его: «Мистер Фостер», сделал приглашающий жест. Румяный молодой человек подошел.

– Назовите нам, мистер Фостер, рекордную цифру производительности для яичника.

– В нашем Центре она составляет шестнадцать тысяч двенадцать, – ответил мистер Фостер без запинки, блестя живыми голубыми глазами. Он говорил очень быстро и явно рад был сыпать цифрами. – Шестнадцать тысяч двенадцать – в

ста восьмидесяти девяти однояйцевых выводках. Но, конечно, – продолжал он тараторить, – в некоторых тропических Центрах показатели намного выше. Сингапур не раз уже переваливал за шестнадцать тысяч пятьсот, а Момбаса достигла даже семнадцатитысячного рубежа. Но разве это состязание на равных? Видели бы вы, как негритянский яичник реагирует на вытяжку гипофиза! Нас, работающих с европейским материалом, это просто ошеломляет. И все-таки, – прибавил он с добродушным смешком (но в глазах его зажегся боевой огонь, и с вызовом выпятился подбородок), – все-таки мы еще с ними потягаемся. В данное время у меня работает чудесный дельта-минусовый яичник. Всего полтора года как задействован. А уже более двенадцати тысяч семисот детей, раскупоренных или на ленте. И по-прежнему работает вовсю. Мы их еще побьем.

– Люблю энтузиастов! – воскликнул Директор и похлопал мистера Фостера по плечу. – Присоединяйтесь к нам, пусть эти юноши воспользуются вашей эрудицией.

Мистер Фостер скромно улыбнулся:

– С удовольствием.

И все вместе они продолжили обход.

В Укупорочном зале кипела деятельность дружная и упорядоченная. Из подвалов Органохранилища на скоростных грузоподъемниках сюда доставлялись лоскуты свежей свиной брюшины, накроенные под размер. Вззз! И затем: щелк! – крышка подъемника отскакивает; устильщице остается лишь протянуть руку, взять лоскут, вложить в бутыль, расправить, и еще не успела устланная бутыль отъехать, как уже – взз, щелк! – новый лоскут взлетает из недр хранилища, готовый лечь в очередную из бутылей, нескончаемой вереницей следующих по конвейеру.

Тут же за устильщицами стоят зарядчицы. Лента ползет; одно за другим переселяются яйца из пробирок в бутыли: быстрый надрез устилки, легла на место морула, залит солевой раствор… и уже бутыль проехала, и очередь действовать этикетчицам. Наследственность, дата оплодотворения, группа Бокановского – все эти сведения переносятся с пробирки на бутыль. Теперь уже не безымянные, а паспортизованные, бутыли продолжают медленный маршрут и

через окошко в стене медленно и мерно вступают в Зал социального предопределения.

– Восемьдесят восемь кубических метров – объем картотеки! – объявил – просмаковал цифру – мистер Фостер при входе в зал.

– Здесь вся относящаяся к делу информация, – прибавил Директор.

– Каждое утро она дополняется новейшими данными.

– И к середине дня увязка завершается.

– На основании которой делаются расчеты нужных контингентов.

– Заявки на таких-то особей таких-то качеств, – пояснил мистер Фостер.

– В таких-то конкретных количествах.

– Задается оптимальный темп раскупорки на текущий момент.

– Непредвиденная убыль кадров восполняется незамедлительно.

– Незамедлительно, – подхватил мистер Фостер. – Знали бы вы, какой сверхурочной работой обернулось для меня послед нее японское землетрясение! – Добродушно засмеявшись, он покачал головой.

– Предопределители шлют свои заявки оплодотворителям.

– И те дают им требуемых эмбрионов.

– И бутыли приходят сюда для детального предопределения.

– После чего следуют вниз, в Эмбрионарий.

– Куда и мы проследуем сейчас.

И, открыв дверь на лестницу, мистер Фостер первым стал спускаться в цокольный этаж.

Температура и тут была тропическая. Сгущался постепенно сумрак. Дверь, коридор с двумя поворотами и снова дверь – чтобы исключить всякое проникновение дневного света.

– Зародыши подобны фотопленке, – юмористически заметил мистер Фостер, толкая вторую дверь. – Иного света, кроме красного, не выносят.

И в самом деле, знойный мрак, в который вступили студенты, рдел зримо, вишнево, как рдеет яркий день сквозь сомкнутые веки. Выпуклые бока бутылей, ряд за рядом уходивших вдаль и ввысь, играли бессчетными рубинами, и среди рубиновых отсветов двигались мглисто-красные призраки мужчин и женщин с багряными глазами и багровыми, как при волчанке, лицами. Приглушенный рокот, гул машин слегка колебал тишину.

– Попотчуйте юношей цифрами, мистер Фостер, – сказал Директор, пожелавший дать себе передышку.

Мистер Фостер с великой радостью принялся потчевать цифрами. Длина Эмбрионария – двести двадцать метров, ширина – двести, высота – десять. Он указал вверх. Как пьющие куры, студенты за драли головы к далекому потолку.

Бесконечными лентами тянулись рабочие линии: нижние, средние, верхние. Куда ни взглянуть, уходила во мрак, растворяясь, стальная паутина ярусов. Неподалеку три красных привидения деловито сгружали бутылки с движущейся лестницы.

– Эскалатор этот – из Зала предопределения.

Прибывшая оттуда бутыль ставится на одну из пятнадцати лент, и каждая такая лента является конвейером – ползет неприметно для глаза с часовой скоростью в тридцать три и одну треть сантиметра. Двести шестьдесят семь суток, по восемь метров в сутки. Итого: две тысячи сто тридцать шесть метров. Круговой маршрут внизу, затем по среднему ярусу, еще полкруга по верхнему, а на двести шестьдесят седьмое утро – Зал раскупорки и появление на свет, на дневной свет. Выход в так называемое самостоятельное существование.

– Но до раскупорки, – заключил мистер Фостер, – мы успеваем плодотворно поработать над ними. О-очень плодотворно, – хохотнул он многозначаще и победоносно.

– Люблю энтузиастов, – похвалил опять Директор. – Теперь пройдемтесь по маршруту. Потчуйте их знаниями, мистер Фостер, не скупитесь.

И мистер Фостер не стал скупиться.

Он поведал им о зародыше, растущем на своей подстилке из брюшины. Дал каждому студенту попробовать насыщенный питательными веществами кровезаменитель, которым кормится зародыш. Объяснил, почему необходима стимулирующая добавка плацентина и тироксина. Рассказал об экстракте желтого тела. Показал инжекторы, посредством которых этот экстракт автоматически впрыскивается через каждые двенадцать метров по всему пути следования вплоть до 2040-го метра. Сказал о постепенно возрастающих дозах гипофизарной вытяжки, вводимых на финальных девяноста шести метрах маршрута. Описал систему искусственного материнского кровообращения, которой оснащается бутыль на 112-м метре, показал резервуар с кровезаменителем и центробежный насос, прогоняющий без остановки эту синтетическую кровь через плаценту, сквозь искусственное легкое и фильтр очистки. Упомянул о неприятной склонности зародыша к малокровию и о необходимых в связи с этим крупных дозах экстрактов свиного желудка и печени лошадиного эмбриона.

Показал им простой механизм, с помощью которого бутыли – на двух последних метрах каждого восьмиметрового отрезка пути – встряхиваются все сразу, чтобы приучить зародышей к движению. Дал понять об опасности так называемой раскупорочной травмы и перечислил принимаемые контрмеры – рассказал о специальной тренировке обутыленных зародышей. Сообщил об определении пола, производимом в районе 200-го метра. Привел условные обозначения: Т – для мужского пола, О – для женского, а для будущих «неплод» – черный во просительный знак на белом фоне.

– Понятно ведь, – сказал мистер Фостер, – что в подавляющем большинстве случаев плодоспособность является только помехой. Для наших целей был бы, в сущности, вполне достаточен один плодоносящий яичник на каждые тысячу двести женских особей. Но хочется иметь хороший выбор. И разумеется, должен

всегда быть обеспечен огромный аварийный резерв плодоспособных яичников. Поэтому мы позволяем целым тридцати процентам женских зародышей развиваться нормально. Остальные же получают дозу мужского полового гормона через каждые двадцать четыре метра дальнейшего маршрута. В результате к моменту раскупорки они уже являются неплодами – в структурном отношении вполне нормальными особями (с той, правда, оговоркой, что у них чуточку заметна тенденция к волосистости щек), но неспособными давать потомство. Гарантированно, абсолютно неспособными. Что наконец-то позволяет нам, – продолжал мистер Фостер, – перейти из сферы простого рабского подражания природе в куда более увлекательный мир человеческой изобретательности.

Он удовлетворенно потер руки.

– Вынашивать плод и корова умеет; довольствоваться этим мы не можем. Сверх этого мы пред определяем и приспособляем, формируем. Младенцы наши раскупориваются уже подготовленными к жизни в обществе – как альфы или эпсилоны, как будущие работники канализационной сети или же как будущие… – Он хотел было сказать «Главноуправители», но вовремя поправился: – Как будущие директора инкубаториев.

Директор улыбкой поблагодарил за комплимент.

Остановились далее у ленты 11, на 320-м метре. Молодой техник, бета-минусовик, настраивал там отверткой и гаечным ключом кровенасос очередной бутыли. Он затягивал гайки, и гул электромотора понижался, густел понемногу. Ниже, ниже… Последний поворот ключа, взгляд на счетчик – и дело сделано. Затем два шага вдоль конвейера – и началась настройка следующего насоса.

– Убавлено число оборотов, – объяснил мистер Фостер. – Кровезаменитель циркулирует теперь медленнее; следовательно, реже проходит через легкое; следовательно, дает зародышу меньше кислорода. А ничто так не снижает умственно-телесный уровень, как нехватка кислорода.

– А зачем нужно снижать уровень? – спросил один наивный студент.

Длинная пауза.

– Осел! – произнес Директор. – Как это не сообразить, что у эпсилон-зародыша должна быть не только наследственность эпсилона, но и питательная среда эпсилона.

Несообразительный студент готов был сквозь землю провалиться от стыда.

– Чем ниже каста, – сказал мистер Фостер, – тем меньше поступление кислорода. Нехватка прежде всего действует на мозг. Затем на скелет. При семидесяти процентах кислородной нормы получаются карлики. А ниже семидесяти – безглазые уродцы, которые ни к чему уж не пригодны, – отметил мистер Фостер. – А вот изобрети мы только, – мистер Фостер взволнованно и таинственно понизил голос, – найди мы только способ сократить время взросления, и какая бы это была победа, какое благо для Общества! Обратимся для сравнения к лошади.

Слушатели обратились мыслями к лошади.

В шесть лет она уже взрослая. Слон взрослеет к десяти годам. А человек и к тринадцати еще не созрел сексуально; полностью же вырастает к двадцати. Отсюда и этот продукт замедленного развития – человеческий разум.

– Но от эпсилонов, – весьма убедительно вел далее мысль мистер Фостер, – нам человеческий разум не требуется.

Не требуется – стало быть, и не формируется. Но, хотя мозг эпсилона кончает развитие в десятилетнем возрасте, тело эпсилона лишь к восемнадцати годам созревает для взрослой работы. Долгие потерянные годы непроизводительной незрелости. Если бы физическое развитие можно было ускорить, сделать таким же незамедленным, как, скажем, у коровы, – какая бы гигантская получилась экономическая выгода для Общества!

– Гигантская! – шепотом воскликнули студенты, зараженные энтузиазмом мистера Фостера.

Он углубился в ученые детали: повел речь об анормальной координации эндокринных желез, вследствие которой люди и растут так медленно; ненормальность эту можно объяснить зародышевой мутацией. А можно ли устранить последствия этой мутации? Можно ли с помощью надлежащей

методики вернуть каждый отдельный эпсилон-зародыш к былой нормальной, как у собак и у коров, скорости развития? Вот в чем проблема. И ее уже чуть было не решили.

Пилкингтону удалось в Момбасе получить особи, половозрелые к четырем годам и вполне выросшие к шести с половиной. Триумф науки! Но в общественном аспекте бесполезный. Шестилетние мужчины и женщины слишком глупы – не справляются даже с работой эпсилонов. А метод Пилкингтона таков, что середины нет – либо все, либо ничего не получаешь, никакого сокращения сроков. В Момбасе продолжаются поиски золотой середины между взрослением в двадцать и взрослением в шесть лет. Но пока – безуспешные. Мистер Фостер вздохнул и покачал головой.

Странствия в вишневом сумраке привели студентов к ленте 9, к 170-му метру. Начиная от этой точки, лента 9 была закрыта с боков и сверху; бутыли совершали дальше свой маршрут как бы в туннеле; лишь кое-где виднелись открытые промежутки в два-три метра длиной.

– Формирование любви к теплу, – сказал мистер Фостер. – Горячие туннели чередуются с прохладными. Прохлада связана с дискомфортом в виде жестких рентгеновских лучей. К моменту раскупорки зародыши уже люто боятся холода. Им предназначено поселиться в тропиках или стать горнорабочими, прясть ацетатный шелк, плавить сталь. Телесная боязнь холода будет позже подкреплена воспитанием мозга. Мы приучаем их тело благоденствовать в тепле. А наши коллеги на верхних этажах внедрят любовь к теплу в их сознание, – заключил мистер Фостер.

– И в этом, – добавил назидательно Директор, – весь секрет счастья и добродетели: люби то, что тебе предначертано. Все воспитание тела и мозга как раз и имеет целью привить людям любовь к их неизбежной социальной судьбе.

В одном из межтуннельных промежутков действовала шприцем медицинская сестра – осторожно втыкала длинную тонкую иглу в студенистое содержимое очередной бутыли. Студенты и оба наставника с минуту понаблюдали за ней молча.

– Привет, Линайна, – сказал мистер Фостер, когда она вынула наконец иглу и распрямилась. Девушка, вздрогнув, обернулась. Даже в этой мгле, багрянившей

ее глаза и кожу, видно было, что она необычайно хороша собой – как куколка.

– Генри! – Она блеснула на него алой улыбкой, коралловым ровным оскалом зубов.

– О-ча-ро-вательна, – заворковал Директор, ласково потрепал ее сзади, и в ответ девушка его тоже одарила улыбкой, но весьма почтительной.

– Какие производишь инъекции? – спросил мистер Фостер уже сугубо деловым тоном.

– Да обычные уколы – от брюшного тифа и сонной болезни.

– Работников для тропической зоны начинаем колоть на 150-м метре, – объяснил мистер Фостер студентам, – когда у зародыша еще жабры. Иммунизируем рыбу против болезней будущего человека. – И, повернувшись опять к Линайне, сказал ей: – Сегодня, как всегда, без десяти пять на крыше.

– Очаровательна, – бормотнул снова Директор, дал прощальный шлепочек и отошел, присоединился к остальным.

У грядущего поколения химиков – у длинной вереницы бутылей на ленте 10 – формировалась стойкость к свинцу, каустической соде, смолам, хлору. На ленте 3 партия из двухсот пятидесяти зародышей, предназначенных в бортмеханики ракетопланов, как раз подошла к тысяча сотому метру. Специальный механизм безостановочно переворачивал эти бутыли.

– Чтобы усовершенствовать их чувство равновесия, – разъяснил мистер Фостер. – Работа их ждет сложная: производить ремонт на внешней обшивке ракеты во время полета непросто. При нормальном положении бутыли скорость кровотока мы снижаем, и в это время организм зародыша голодает; зато в момент, когда зародыш повернут вниз головой, мы удваиваем приток кровезаменителя. Они приучаются связывать перевернутое положение с отличным самочувствием, и счастливы они по-настоящему бывают в жизни лишь тогда, когда находятся вверх тормашками. А теперь, – продолжал мистер Фостер, – я хотел бы показать вам кое-какие весьма интересные приемы формовки интеллектуалов альфа-плюс. Сейчас пропускаем по ленте 5 большую их партию. Нет, не на нижнем ярусе – на среднем, – остановил он двух студентов, двинувшихся было вниз. –

Это в районе 900-го метра, – пояснил он. – Формовку интеллекта практически бесполезно начинать прежде, чем зародыш становится бесхвостым. Пойдемте.

Но Директор уже поглядел на часы.

– Без десяти минут три, – сказал он. – К сожалению, на интеллектуалов у нас не осталось времени. Нужно подняться в Питомник до того, как у детей кончится мертвый час.

Мистер Фостер огорчился.

– Тогда хоть на минуту заглянем в Зал раскупорки, – сказал он просяще.

– Согласен. – Директор снисходительно улыбнулся. – Но только на минуту.

Глава вторая

Оставив мистера Фостера в Зале раскупорки, Директор и студенты вошли в ближайший лифт и поднялись на шестой этаж.

«МЛАДОПИТОМНИК. ЗАЛЫ НЕОПАВЛОВСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСОВ» – гласила доска при входе.

Директор открыл дверь. Они очутились в большом голом зале, очень светлом и солнечном: южная стена его была одно сплошное окно. Пять или шесть нянь в форменных брючных костюмах из белого вискозного полотна и в белых асептических, скрывающих волосы шапочках были заняты тем, что расставляли на полу цветы. Ставили в длинную линию большие вазы, переполненные пышными розами. Лепестки их были шелковисто-гладки, словно щеки тысячного сонма ангелов – нежно-румяных индоевропейских херувимов, и лучезарно-чайных китайчат, и мексиканских смуглячков, и пурпурных от чрезмерного усердия небесных трубачей, и ангелов, бледных как смерть, бледных мраморной надгробной белизною.

Директор вошел – няни встали смирно.

– Книги по местам, – сказал он коротко.

Няни без слов повиновались. Между вазами они разместили стоймя и раскрыли большеформатные детские книги, манящие пестро раскрашенными изображениями зверей, рыб, птиц.

– Привезти ползунков.

Няни побежали выполнять приказание и минуты через две возвратились; каждая катила высокую, в четыре сетчатых этажа, тележку, груженную восьмимесячными младенцами, как две капли похожими друг на друга (явно – из одной группы Бокановского) и одетыми все в хаки (отличительный цвет касты «дельта»).

– Снять на пол.

Младенцев сгрузили с проволочных сеток.

– Повернуть лицом к цветам и книгам.

Завидя книги и цветы, детские шеренги смолкли и двинулись ползком к этим скоплениям цвета, к этим красочным образам, таким празднично-пестрым на белых страницах. А тут и солнце вышло из-за облачка. Розы вспыхнули, точно воспламененные внезапной страстью; глянцевитые страницы книг как бы озарились новым и глубинным смыслом. Младенцы поползли быстрей, возбужденно попискивая, гукая и щебеча от удовольствия.

– Превосходно! – сказал Директор, потирая руки. – Как по заказу получилось.

Самые резвые из ползунков достигли уже цели. Ручонки протянулись неуверенно, дотронулись, схватили, обрывая лепестки преображенных солнцем роз, комкая цветистые картинки. Директор подождал, пока все дети не присоединились к этому радостному занятию. Затем: – Следите внимательно! – сказал он студентам. И подал знак вскинутой рукой.

Старшая няня, стоявшая у щита управления в другом конце зала, включила рубильник.

Что-то бахнуло, загрохотало. Завыла сирена, с каждой секундой все пронзительнее. Бешено зазвенели сигнальные звонки.

Дети трепыхнулись, заплакали в голос; личики их исказились от ужаса.

– А сейчас, – не сказал, а прокричал Директор (ибо шум стоял оглушительный), – сейчас мы слегка подействуем на них электротоком, чтобы закрепить преподанный урок.

Он опять взмахнул рукой, и Старшая включила второй рубильник. Плач детей сменился отчаянными воплями. Было что-то дикое, почти безумное в их резких, судорожных вскриках. Детские тельца вздрагивали, цепенели; руки и ноги дергались, как у марионеток.

– Весь этот участок пола теперь под током, – проорал Директор в пояснение. – Но достаточно, – подал он знак Старшей.

Грохот и звон прекратились, вой сирены стих, иссяк. Тельца перестали дергаться, бесноватые вскрики и взрыды перешли в прежний нормальный перепуганный рев.

– Предложить им снова цветы и книги.

Няни послушно подвинули вазы, раскрыли картинки; но при виде роз и веселых кисок-мурок, петушков – золотых гребешков и черненьких бяшек дети съежились в ужасе; рев моментально усилился.

– Видите! – сказал Директор торжествующе. – Видите!

В младенческом мозгу книги и цветы уже опорочены, связаны с грохотом, электрошоком; а после двухсот повторений того же или сходного урока связь эта станет нерасторжимой. Что человек соединил, природа разделить бессильна.

– Они вырастут, неся в себе то, что психологи когда-то называли «инстинктивным» отвращением к природе. Рефлекс, привитый на всю жизнь. Мы их навсегда обезопасим от книг и от ботаники. – Директор повернулся к няням: –

Увезти.

Все еще ревущих младенцев в хаки погрузили на тележки и укатили, остался только кисломолочный запах, и наконец-то наступила тишина.

Один из студентов поднял руку: он, конечно, вполне понимает, почему нельзя, чтобы низшие касты расходовали время Общества на чтение книг, и притом они всегда ведь рискуют прочесть что-нибудь могущее нежелательно расстроить тот или иной рефлекс, но вот цветы… насчет цветов неясно. Зачем класть труд на то, чтобы для дельт сделалась психологически невозможной любовь к цветам?

Директор терпеливо стал объяснять. Если младенцы теперь встречают розу ревом, то прививается это из высоких экономических соображений. Не так еще давно (лет сто назад) у гамм, дельт и даже у эпсилонов культивировалась любовь к цветам – и к природе вообще. Идея была та, чтобы в часы досуга их непременно тянуло за город, в лес и поле, и таким образом они загружали бы транспорт.

– И что же, разве они не пользовались транспортом? – спросил студент.

– Транспортом-то пользовались, – ответил Директор. – Но на этом хозяйственная польза и кончалась.

У цветочков и пейзажей тот существенный изъян, что это блага даровые, подчеркнул Директор. Любовь к природе не загружает фабрики заказами. И решено было отменить любовь к природе – во всяком случае, у низших каст; отменить, но так, чтобы загрузка транспорта не снизилась. Оставалось существенно важным, чтобы за город ездили по-прежнему, хоть и питая отвращение к природе. Требовалось лишь подыскать более разумную с хозяйственной точки зрения причину для пользования транспортом, чем простая тяга к цветочкам и пейзажам. И причина была подыскана.

– Мы прививаем массам нелюбовь к природе. Но одновременно мы внедряем в них любовь к загородным видам спорта. Причем именно к таким, где необходимо сложное оборудование. Чтобы не только транспорт был загружен, но и фабрики спортивного инвентаря. Вот из чего проистекает связь цветов с электрошоком, – закруглил мысль Директор.

– Понятно, – произнес студент и смолк – в безмолвном восхищении.

Пауза; откашлявшись, Директор заговорил опять:

– В давние времена, еще до успения Господа нашего Форда, жил-был мальчик по имени Рувим Рабинович. Родители Рувима говорили по-польски. – Директор приостановился. – Полагаю, вам известно, что такое «польский»?

– Это язык, мертвый язык.

– Как и французский, и как немецкий, – поспешил другой студент выказать свои познания.

– А «родители»? – вопросил Директор.

Неловкое молчание. Иные из студентов покраснели. Они еще не научились проводить существенное, но зачастую весьма тонкое различие между непристойностями и строго научной терминологией. Наконец один набрался храбрости и поднял руку.

– Люди были раньше… – Он замялся; щеки его залила краска. – Были, значит, живородящими.

– Совершенно верно. – Директор одобрительно кивнул.

– И когда у них дети раскупоривались…

– Рождались, – поправил Директор.

– Тогда, значит, они становились родителями – то есть не дети, конечно, а те, у кого… – Бедный юноша смутился окончательно.

– Короче, – резюмировал Директор, – родителями назывались отец и мать.

Гулко упали (трах! тарах!) в сконфуженную тишину эти ругательства, а в данном случае – научные термины.

– Мать, – повторил Директор громко, закрепляя термин, и, откинувшись в кресле, веско сказал: – Факты это неприятные, согласен. Но большинство исторических фактов принадлежит к разряду неприятных. Однако вернемся к Рувиму. Как-то вечером отец и мать (трах! тарах!) забыли выключить в комнате у Рувима радиоприемник. А вы должны помнить, что тогда, в эпоху грубого живородящего размножения, детей растили их родители, а не государственные воспитательные центры.

Мальчик спал, а в это время неожиданно в эфире зазвучала передача из Лондона; и на следующее утро, к изумлению его отца и матери (те из юнцов, что посмелей, отважились поднять глаза, перемигнуться, ухмыльнуться), проснувшийся Рувимчик слово в слово повторил переданную по радио длинную беседу Джорджа Бернарда Шоу. («Это старинный писатель-чудак – один из весьма немногих литераторов, чьим произведениям было позволено дойти до нас».) По преданию, довольно достоверному, в тот вечер темой беседы была его, Шоу, гениальность. Рувимовы отец и мать (перемигивание, тайные смешки) ни слова, конечно, не поняли и, вообразив, что их ребенок сошел с ума, позвали врача. К счастью, тот понимал по-английски, распознал текст вчерашней радиобеседы, уразумел важность случившегося и послал сообщение в медицинский журнал.

– Так открыли принцип гипнопедии, то есть обучения во сне. – Директор сделал внушительную паузу.

Открыть-то открыли; но много, много еще лет минуло, прежде чем нашли этому принципу полезное применение.

– Происшествие с Рувимом случилось всего лишь через двадцать три года после того, как Господь наш Форд выпустил на автомобильный рынок первую модель Т. – При сих словах Директор перекрестил себе живот знаком Т, и все студенты набожно последовали примеру. – Но прошло еще…

Карандаши с бешеной быстротой бегали по бумаге. «Гипнопедия впервые официально применена в 214 г. Э. Ф. Почему не раньше? По двум причинам. 1)…»

– Эти ранние экспериментаторы, – говорил Директор, – действовали в ложном направлении. Они полагали, что гипнопедию можно сделать средством

образования…

(Малыш, спящий на правом боку; правая рука свесилась с кроватки. Из репродуктора, из сетчатого круглого отверстия, звучит тихий голос:

– Нил – самая длинная река в Африке и вторая по длине среди рек земного шара. Хотя Нил и короче Миссисипи-Миссури, но он стоит на первом месте по протяженности бассейна, раскинувшегося на 35 градусов с юга на север…

Утром, когда малыш завтракает, его спрашивают:

– Томми, а какая река в Африке длиннее всех, ты знаешь?

«Нет», – мотает головой Томми.

– Но разве ты не помнишь, как начинается: «Нил – самая…»

«Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая-по-длине-среди-рек-земного-шара. – Слова льются потоком. – Хотя-Нил-и-короче…»

– Так какая же река длиннее всех в Африке?

Глаза мальчугана ясны и пусты.

– Не знаю.

– А как же Нил?

– «Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая…»

– Ну, так какая же река длинней всех – а, Томми?

Томми разражается слезами.

– Не знаю, – ревет он.)

Этот горестный рев обескураживал ранних исследователей, подчеркнул Директор. Эксперименты прекратились. Были оставлены попытки дать детям во сне понятие о длине Нила. И правильно сделали, что бросили эти попытки. Нельзя усвоить науку без понимания, без вникания в смысл.

– Но вот если бы они занялись нравственным воспитанием, – говорил Директор, ведя студентов к двери, а те продолжали поспешно записывать и на ходу, и пока подымались в лифте, – вот нравственное-то воспитание никогда, ни в коем случае не должно основываться на понимании.

«Тише! Тише!» – зашелестел репродуктор, когда они вышли из лифта на пятнадцатом этаже, и это шелестение сопровождало их по коридорам, неустанно исходя из раструба репродукторов, размещенных через равные промежутки. Студенты и даже сам Директор невольно пошли на цыпочках. Все они, конечно, были альфы; но и у альф рефлексы выработаны неплохо. «Тише! Тише!» – весь пятнадцатый этаж шелестел этим категорическим императивом.

Пройдя на цыпочках шагов сто, Директор осторожно открыл дверь. Они вошли и оказались в сумраке зашторенного спального зала. У стены стояли в ряд восемьдесят кроваток. Слышалось легкое, ровное дыхание и некий непрерывный бормоток, точно слабенькие голоса журчали в отдалении.

Навстречу вошедшим встала воспитательница и застыла навытяжку перед Директором.

– Какой проводите урок? – спросил он.

– Первые сорок минут были уделены началам секса, – ответила она. – А теперь переключила на основы кастового самосознания.

Директор медленно пошел вдоль шеренги кроваток. Восемьдесят мальчиков и девочек тихо дышали, разрумянившись от сна. Из-под каждой подушки тек шепот. Директор остановился и, нагнувшись над кроваткой, вслушался.

– Основы, говорите вы, кастового самосознания. Дадим-ка чуть погромче – через рупор.

В конце зала, на стене, был укреплен громкоговоритель. Директор подошел, включил его.

– …ходят в зеленом, – с полуфразы начал тихий, но очень отчетливый голос, – а дельты – в хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни читать, ни писать не умеют. Да еще ходят в черном, а это такой гадкий цвет. Как хорошо, что я бета.

Голос помолчал – и начал снова:

– Дети-альфы ходят в сером. У альф работа гораздо трудней, чем у нас, потому что альфы страшно умные. Прямо чудесно, что я бета, что у нас работа легче. И мы гораздо лучше гамм и дельт. Гаммы глупые. Они ходят в зеленом, а дельты в хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни…

Директор нажал выключатель. Голос умолк. Остался только его призрак – слабый шепот, по-прежнему идущий из-под восьмидесяти подушек.

– До подъема им повторят это еще разочков сорок или пятьдесят; затем снова в четверг и в субботу. Трижды в неделю по сто двадцать раз в продолжение тридцати месяцев. После чего они перейдут к другому, усложненному уроку.

Розы и электрошок, дельты в хаки и струя чесночной вони – эта связь уже нерасторжимо закреплена, прежде чем ребенок научится говорить. Но бессловесное внедрение рефлексов действует грубо, огульно; с помощью его нельзя сформировать более тонкие и сложные шаблоны поведения. Для этой цели требуются слова, но вдумывания не нужно. Короче – требуется гипнопедия.

– Величайшая нравоучительная сила всех времен, готовящая к жизни в обществе.

Студенты записали это изречение в блокноты. Прямехонько из мудрых уст.

Директор опять включил рупор.

– …страшно умные, – работал тихий, задушевный, неутомимый голос. – Прямо чудесно, что я бета, что у нас…

Словно это падает вода капля за каплей, а ведь вода способна проточить самый твердый гранит; или, вернее, словно капает жидкий сургуч, и капли налипают, обволакивают и пропитывают, покуда бывший камень весь не обратится в ало-восковой комок.

– Покуда наконец все сознание ребенка не заполнится тем, что внушил голос, и то, что внушено, не станет в сумме своей сознанием ребенка. И не только ребенка. А и взрослого – на всю жизнь. Мозг рассуждающий, желающий, решающий – весь насквозь будет состоять из того, что внушено. Внушено нами! – воскликнул Директор торжествуя. – Внушено Государством! – Он ударил рукой по столику. – И следовательно…

Шум заставил его обернуться.

– О Господи Форде! – произнес он сокрушенно. – Надо же, детей перебудил.

Глава третья

За зданием, в парке, было время игр. Под теплым июньским солнцем шестьсот – семьсот голеньких мальчиков и девочек бегали со звонким криком по газонам, играли в мяч или же уединялись по двое и по трое, присев и примолкнув в цветущих кустах. Благоухали розы, два соловья распевали в ветвях, кукушка куковала среди лип, слегка сбиваясь с тона. В воздухе плавало дремотное жужжание пчел и вертопланов.

Директор со студентами постояли, понаблюдали, как детвора играет в центробежную лапту. Десятка два детей окружали башенку из хромистой стали. Мяч, закинутый на верхнюю ее площадку, скатывался внутрь и попадал на быстро вертящийся диск, так что мяч выбрасывало с силой через одно из многих отверстий в цилиндрическом корпусе башни, а дети, вставшие кружком, ловили.

– Странно, – заразмышлял вслух Директор, когда пошли дальше, – странно подумать, что даже при Господе нашем Форде для большинства игр еще не требовалось ничего, кроме одного-двух мячей да нескольких клюшек или там сетки. Какая это была глупость – допускать игры, пусть и замысловатые, но нимало не способствующие росту потребления. Дикая глупость. Теперь же Главноуправители не разрешают никакой новой игры, не удостоверясь прежде, что для нее необходимо по крайней мере столько же спортивного инвентаря, как для самой сложной из уже допущенных игр… Что за очаровательная парочка, – указал он вдруг рукой. В траве на лужайке среди древовидного вереска двое детей – мальчик лет семи и девочка примерно годом старше – очень сосредоточенно, со всей серьезностью ученых, углубившихся в научный поиск, играли в примитивную сексуальную игру.

– Очаровательно, очаровательно! – повторил сентиментально Директор.

– Очаровательно, – вежливо поддакнули юнцы. Но в улыбке их сквозило снисходительное презрение. Сами лишь недавно оставив позади подобные детские забавы, они не могли теперь смотреть на это иначе как свысока. Очаровательно? Да просто малыши балуются, и больше ничего. Возня младенческая.

– Я всегда вспоминаю… – продолжал Директор тем же слащавым тоном; но тут послышался громкий плач.

Из соседних кустов вышла няня, ведя за руку плачущего мальчугана. Следом семенила встревоженная девочка.

– Что случилось? – спросил Директор.

Няня пожала плечами.

– Ничего особенного, – ответила она. – Просто этот мальчик не слишком охотно участвует в обычной эротической игре. Я уже и раньше замечала. А сегодня опять. Расплакался вот…

– Ей-форду, – встрепенулась девочка, – я ничего такого нехорошего ему не делала. Ей-форду.

– Ну конечно же, милая, – успокоила ее няня. – И теперь, – продолжала она, обращаясь к Директору, – веду его к помощнику Старшего психолога, чтобы проверить, нет ли каких ненормальностей.

– Правильно, ведите, – одобрил Директор, и няня направилась дальше со своим по-прежнему ревущим питомцем. – А ты останься в саду, деточка. Как тебя зовут?

– Полли Троцкая.

– Превосходнейшее имя, – похвалил Директор. – Беги-ка поищи себе другого напарничка.

Девочка вприпрыжку побежала прочь и скрылась в кустарнике.

– Прелестная малютка, – молвил Директор, глядя ей вслед. Затем, повернувшись к студентам, сказал: – То, что я вам сообщу сейчас, возможно, прозвучит как небылица. Но для непривычного уха факты исторического прошлого в большинстве своем звучат как небылица.

И он сообщил им поразительную вещь. В течение долгих столетий до Эры Форда и даже потом еще на протяжении нескольких поколений эротические игры детей считались чем-то ненормальным (взрыв смеха) и, мало того, аморальным («Да что вы!») и были поэтому под строгим запретом.

Студенты слушали изумленно и недоверчиво. Неужели бедным малышам не позволяли забавляться? Да как же так?

– Даже подросткам не позволяли, – продолжал Директор, – даже юношам, как вы…

– Быть того не может!

– И они, за исключением гомосексуализма и самоуслаждения, практикуемых украдкой и урывками, не имели ровно ничего.

– Ни-че-го?

– Да, в большинстве случаев ничего – до двадцатилетнего возраста.

– Двадцатилетнего? – хором ахнули студенты, не веря своим ушам.

– Двадцатилетнего, а то и дольше. Я ведь говорил вам, что историческая правда прозвучит как небылица.

– И к чему ж это вело? – спросили студенты. – Что же получалось в результате?

– Результаты были ужасающие, – неожиданно вступил в разговор звучный бас.

Они оглянулись. Сбоку стоял незнакомый черноволосый человек среднего роста – горбоносый, с сочными красными губами, с глазами очень проницательными и темными.

– Ужасающие, – повторил он.

Директор, присевший было на одну из каучуково-стальных скамей, удобно размещенных там и сям по парку, вскочил при виде незнакомца и ринулся к нему, широко распахнув руки, скаля все свои зубы, шумно ликуя.

– Главноуправитель! Какая радостная неожиданность! Представьте себе, юноши, – сам Главноуправитель, его фордейшество Мустафа Монд!

Во всех четырех тысячах залов и комнат Центра четыре тысячи электрических часов одновременно пробили четыре. Зазвучали из репродукторов бесплотные голоса:

– Главная дневная смена кончена. Заступает вторая дневная. Главная дневная смена…

В лифте, поднимаясь к раздевальням, Генри Фостер и помощник Главного предопределителя подчеркнуто повернулись спиной к Бернарду Марксу, специалисту из отдела психологии, – отстранились от человечка со скверной репутацией.

Глухой рокот и гул машин по-прежнему колебал вишнево-сумрачную тишь Эмбрионария. Смены могут приходить и уходить, одно лицо волчаночного цвета сменяться другим; но величаво и безостановочно ползут вперед конвейерные ленты, груженные будущими людьми.

Линайна Краун упругим шагом пошла к выходу.

Его фордейшество Мустафа Монд! Глаза дружно приветствующих студентов чуть не выскакивали из орбит. Мустафа Монд! Постоянный Главноуправитель Западной Европы! Один из десяти Главноуправителей мира. Один из десяти – а запросто сел на скамью рядом с Директором и посидит, побудет с ними, побеседует… да, да, они услышат слова из фордейших уст. Считай, из самих уст Господних.

Двое детишек, бурых от загара, как вареные креветки, явились из зарослей, поглядели большими удивленными глазами и вернулись в кусты к прежним играм.

– Все вы помните, – сказал Главноуправитель своим звучным басом, – все вы, я думаю, помните прекрасное и вдохновенное изречение Господа нашего Форда: «История – сплошная чушь». История, – повторил он не спеша, – сплошная чушь.

Он сделал сметающий жест – словно невидимой метелкой смахнул горсть пыли, и пыль та была Ур Халдейский и Хараппа; смёл древние паутинки, и то были Фивы, Вавилон, Кносс, Микены. Ширк, ширк метелочкой – и где ты, Одиссей, где Иов, где Юпитер, Гаутама, Иисус? Ширк! – и прочь полетели крупинки античного праха, именуемые Афинами и Римом, Иерусалимом и Срединным царством. Ширк! – и пусто место, где была Италия. Ширк! – сметены соборы; ширк, ширк! – прощай, «Король Лир» и Паскалевы «Мысли». Прощайте, «Страсти», ау, Реквием; прощай, Симфония; ширк! ширк!..

– Летишь вечером в ощущалку, Генри? – спросил помощник Предопределителя. – Я слышал, сегодня в «Альгамбре» первоклассная новая лента. Там любовная сцена есть на медвежьей шкуре; говорят, изумительная. Воспроизведен каждый медвежий волосок. Потрясающие осязательные эффекты.

– Потому-то вам и не преподают историю, – продолжал Главноуправитель. – Но теперь пришло время…

Директор взглянул на него обеспокоенно. Ходят ведь странные слухи о старых запрещенных книгах, спрятанных у Монда в кабинете, в сейфе. Поэзия, библии всякие – форд знает что.

Мустафа Монд заметил этот беспокойный взгляд, и уголки его красных губ иронически дернулись.

– Не тревожьтесь, Директор, – сказал он с легкой насмешкой. – Они не развратятся от моей беседы.

Директор устыженно промолчал.

Презирающих тебя сам встречай презрением. На лице Бернарда застыла надменная улыбка. Медвежий волосок – вот что они ценят!

– Обязательно слетаю, – сказал Генри Фостер.

Мустафа Монд подался вперед, к слушателям, потряс поднятым пальцем.

– Вообразите только, – произнес он таким тоном, что у юнцов под ложечкой похолодело, за дрожало. – Попытайтесь вообразить, что это означало – иметь живородящую мать.

Опять это непристойное слово. Но теперь ни у кого на лице не мелькнуло и тени улыбки.

– Попытайтесь лишь представить, что означало «жить в семье».

Студенты попытались; но видно было, что без всякого успеха.

– А известно ли вам, что такое был «родной дом»?

«Нет», – покачали они головой.

Из своего сумрачно-вишневого подземелья Линайна Краун взлетела в лифте на семнадцатый этаж и, выйдя там, повернула направо, прошла длинный коридор, открыла дверь с табличкой «Женская раздевальная» и окунулась в шум, гомон, хаос рук, грудей и женского белья. Потоки горячей воды с плеском вливались в сотню ванн, с бульканьем выливались. Все восемьдесят вибровакуумных массажных аппаратов трудились, гудя и шипя, разминая, сосуще массируя тугие загорелые тела восьмидесяти превосходных экземпляров женской особи, наперебой галдящих. Из автомата синтетической музыки звучала сольная трель суперкорнета.

– Привет, Фанни, – поздоровалась Линайна с молоденькой своей соседкой по шкафчику.

Фанни работала в Укупорочном зале; фамилия ее была тоже Краун. Но поскольку на два миллиарда жителей планеты приходилось всего десять тысяч имен и фамилий, это совпадение не столь уж поражало.

Линайна четырежды дернула книзу свои застежки-молнии: на курточке, справа и слева на брюках (быстрым движением обеих рук) и на комбилифчике. Сняв одежду, она в чулках и туфлях пошла к ванным кабинам.

Родной, родимый дом – в комнатенках его, как сельди в бочке, обитатели: мужчина, периодически рожающая женщина и разновозрастный сброд мальчишек и девчонок. Духота, теснота; настоящая тюрьма, притом антисанитарная; темень, болезни, вонь.

(Главноуправитель рисовал эту тюрьму так живо, что один студент, повпечатлительнее прочих, побледнел и его чуть не стошнило.)

* * *

Линайна вышла из ванны, обтерлась насухо, взялась за длинный, свисающий со стены шланг, приставила дульце к груди, точно собираясь застрелиться, и нажала гашетку. Струя подогретого воздуха обдула ее тончайшей тальковою пудрой. Восемь особых краников предусмотрено было над раковиной – восемь разных одеколонов и духов. Она отвернула третий слева, надушилась «Шипром» и, с туфлями в руке, направилась из кабины к освободившемуся виброваку.

А в духовном смысле родной дом был так же мерзок и грязен, как в физическом. Психологически это была мусорная яма, кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением спершихся в ней жизней, смердящая душевными переживаниями. Какая душная психологическая близость, какие опасные, дикие, смрадные взаимоотношения между членами семейной группы! Как помешанная, тряслась мать над своими детьми (своими! родными!) – ни дать ни взять как кошка над котятами, но кошка, умеющая говорить, умеющая повторять без устали: «Моя детка, моя крохотка». «О моя детка, как он проголодался, прильнул к груди, о эти ручонки, эта невыразимо сладостная мука! А вот и уснул моя крохотка, уснул моя детка, и на губах белеет пузырик молока. Спит мой родной…»

– Да, – покивал головой Мустафа Монд, – вас недаром дрожь берет.

* * *

– С кем развлекаешься сегодня вечером?

– Ни с кем.

Линайна удивленно подняла брови.

– В последнее время я как-то не так себя чувствую, – объяснила Фанни. – Доктор Уэллс прописал мне курс псевдобеременности.

– Но, милая, тебе всего только девятнадцать. А первая беременность не обязательна до двадцати одного года.

– Знаю, милочка. Но некоторым полезно начать раньше. Мне доктор Уэллс говорил, что таким, как я, брюнеткам с широким тазом следует пройти первую псевдобеременность уже в семнадцать лет. Так что я не на два года раньше времени, а уже с опозданием на два года.

Открыв дверцу своего шкафчика, Фанни указала на верхнюю полку, уставленную коробочками и флаконами.

– «Сироп желтого тела, – стала Линайна читать этикетки вслух. – Оварин, свежесть гарантируется; годен до 1 августа 632 г. Э. Ф. Экстракт молочной железы; принимать три раза в день перед едой, разведя в небольшом количестве воды. Плацентин; по 5 миллилитров через каждые два дня внутривенно…» Брр! – поежилась Линайна. – Ненавижу внутривенные.

– И я их не люблю. Но раз они полезны…

Фанни была девушка чрезвычайно благоразумная.

* * *

Господь наш Форд – или Фрейд, как он по неисповедимой некой причине именовал себя, трактуя о психологических проблемах, – Господь наш Фрейд первый раскрыл гибельные опасности семейной жизни. Мир кишел отцами – а значит, страданиями; кишел матерями – а значит, извращениями всех сортов, от садизма до целомудрия, кишел братьями, сестрами, дядьями, тетками – кишел помешательствами и самоубийствами.

– А в то же время у самоанских дикарей, на некоторых островах близ берегов Новой Гвинеи…

Тропическим солнцем, словно горячим медом, облиты нагие тела детей, резвящихся и обнимающихся без разбора среди цветущей зелени. А дом для них – любая из двадцати хижин, крытых пальмовыми листьями. На островах Тробриан зачатие приписывали духам предков; об отцовстве, об отцах там не было и речи.

– Крайности сходятся, – отметил Главноуправитель. – Ибо так и задумано было, чтобы они сходились.

– Доктор Уэллс сказал, что трехмесячный курс псевдобеременности поднимет тонус, оздоровит меня на три-четыре года.

– Что ж, если так, – сказала Линайна. – Но, Фанни, выходит, ты целых три месяца не должна будешь…

– Ну что ты, милая. Всего неделю-две, не больше. Я проведу сегодня вечер в клубе, за музыкальным бриджем. А ты, конечно, полетишь развлекаться?

Линайна кивнула.

– С кем сегодня?

– С Генри Фостером.

– Опять? – сказала Фанни с удивленно-нахмуренным выражением, не идущим к ее круглому, как луна, добродушному лицу. – Неужели ты до сих пор все с Генри Фостером? – укорила она огорченно.

Отцы и матери, братья и сестры. Но были еще и мужья, жены, возлюбленные. Было еще единобрачие и романтическая любовь.

– Впрочем, вам эти слова, вероятно, ничего не говорят, – сказал Мустафа Монд.

«Ничего», – помотали головами студенты.

Семья, единобрачие, любовная романтика. Повсюду исключительность и замкнутость, сосредоточенность влечения на одном предмете; порыв и энергия направлены в узкое русло.

– А ведь каждый принадлежит всем остальным, – привел Мустафа гипнопедическую пословицу.

Студенты кивнули в знак полного согласия с утверждением, которое – от шестидесяти двух с лишним тысяч повторений в сумраке спальни – сделалось не просто справедливым, а стало истиной бесспорной, самоочевидной и не требующей доказательств.

– Но, – возразила Линайна, – я с Генри всего месяца четыре.

– Всего четыре месяца! Ничего себе! И вдобавок, – обвиняюще ткнула Фанни пальцем, – все это время, кроме Генри, ты ни с кем. Ведь ни с кем же?

Линайна залилась румянцем. Но в глазах и в голосе ее осталась непокорность.

– Да, ни с кем, – огрызнулась она. – И не знаю, с какой такой стати я должна еще с кем-то.

– Она, видите ли, не знает, с какой стати, – повторила Фанни, обращаясь словно к незримому слушателю, вставшему за плечом у Линайны. Но тут же переменив тон: – Ну кроме шуток, – сказала она. – Ну прошу тебя, веди ты себя осторожней. Нельзя же так долго все с одним да с одним – это ужасно неприлично. Уж пусть бы тебе было сорок или тридцать пять – тогда бы простительнее. Но в твоем-то возрасте, Линайна! Нет, это никуда не годится. И ты же знаешь, как решительно наш Директор против всего чрезмерно пылкого и затянувшегося. Четыре месяца все с Генри Фостером и ни с кем кроме – да узнай Директор, он был бы вне себя…

– Представьте себе воду в трубе под напором. – Студенты представили себе такую трубу. – Пробейте в металле отверстие, – продолжал Главноуправитель. – Какой ударит фонтан! Если же проделать не одно отверстие, а двадцать, получим два десятка слабых струек.

То же и с эмоциями. «Моя детка. Моя крохотка!..» «Мама!» Безумие чувств заразительно. «Любимый, единственный мой, дорогой и бесценный…»

Материнство, единобрачие, романтика любви. Ввысь бьет фонтан; неистово ярится пенная струя. У чувства одна узенькая отдушина. Мой любимый. Моя детка. Немудрено, что эти горемыки, люди дофордовских времен, были безумны, и порочны, и несчастны. Мир, окружавший их, не позволял жить беспечально, не давал им быть здоровыми, добродетельными, счастливыми. Материнство и влюбленность, на каждом шагу запрет (а рефлекс повиновения запрету не сформирован), соблазн и одинокое потом раскаяние, всевозможные болезни, нескончаемая боль, отгораживающая от людей, шаткое будущее, нищета – все это обрекало их на сильные переживания. А при сильных переживаниях – притом в одиночестве, в безнадежной разобщенности и обособленности – какая уж могла быть речь о стабильности?

– Разумеется, не обязательно отказываться от Генри совсем. Чередуй его с другими, вот и все. Ведь он же не только с тобой?

– Не только, – сказала Линайна.

– Ну, разумеется. Уж Генри Фостер не нарушит правил жизни – он всегда корректен и порядочен. А подумай о Директоре. Ведь как неукоснительно Директор соблюдает этикет.

Линайна кивнула:

– Да, он сегодня потрепал меня по ягодицам.

– Ну вот видишь, – торжествующе сказала Фанни. – Вот тебе пример того, как строжайше он держится приличий.

* * *

– Стабильность, – подчеркнул Главноуправитель, – устойчивость, прочность. Без стабильного общества немыслима цивилизация. А стабильное общество немыслимо без стабильного члена общества. – Голос Мустафы звучал как труба. В груди у слушателей теплело и ширилось.

Машина вертится, работает и должна вертеться непрерывно – вечно. Остановка означает смерть. Копошился прежде на земной коре миллиард обитателей. Завертелись шестерни машин. И через сто пятьдесят лет стало два миллиарда. Остановите машины. Через сто пятьдесят не лет, а недель население земли сократится вполовину. Один миллиард умрет с голоду.

Машины должны работать без перебоев, но они требуют ухода. Их должны обслуживать люди – такие же надежные, стабильные, как шестеренки и колеса, – люди, здоровые духом и телом, послушные, постоянно довольные.

А горемыкам, восклицавшим: «Моя детка, моя мама, мой любимый и единственный», стонавшим: «Мой грех, мой грозный Бог», кричавшим от боли, бредившим в лихорадке, оплакивавшим нищету и старость, – по плечу ли тем несчастным обслуживание машин? А если не будет обслуживания?.. Трупы миллиарда людей непросто было бы зарыть или сжечь.

– И в конце концов, – мягко уговаривала Фанни, – разве это тягостно, мучительно – иметь еще одного-двух в дополнение к Генри? Ведь не тяжело тебе – а значит, обязательно надо разнообразить мужчин…

– Стабильность, – подчеркнул опять Главноуправитель, – стабильность. Первооснова и краеугольный камень. Стабильность. Для достижения ее – все это. – Широким жестом он охватил громадные здания Центра, парк и детей, бегающих нагишом или укромно играющих в кустах.

Линайна покачала головой, сказала в раздумье:

– Что-то в последнее время не тянет меня к разнообразию. А разве у тебя, Фанни, не бывает временами, что не хочется разнообразить?

Фанни кивнула сочувственно и понимающе.

– Но надо прилагать старания, – наставительно сказала она, – надо жить по правилам. Что ни говори, а каждый принадлежит всем остальным.

– Да, каждый принадлежит всем остальным, – повторила медленно Линайна и, вздохнув, помолчала. Затем, взяв руку подруги, слегка сжала в своей: – Ты абсолютно права, Фанни. Ты всегда права. Я приложу старания.

Поток, задержанный преградой, взбухает и переливается – позыв обращается в порыв, в страсть, даже в помешательство: сила потока множится на высоту и прочность препятствия. Когда же преграды нет, поток стекает плавно по назначенному руслу в тихое море благоденствия.

Зародыш голоден, и день-деньской питает его кровезаменителем насос, давая свои восемьсот оборотов в минуту. Заплакал раскупоренный младенец, и тут же подошла няня с бутылочкой млечно-секреторного продукта.

Эмоция таится в промежутке между позывом и его удовлетворением. Сократи этот промежуток, устрани все прежние ненужные препятствия.

– Счастливцы вы! – воскликнул Главноуправитель. – На вас не жалели трудов, чтобы сделать вашу жизнь в эмоциональном отношении легкой – оградить вас, насколько возможно, от эмоций и переживаний вообще.

– Форд в своем «форде» – и в мире покой, – продекламировал вполголоса Директор.

– Линайна Краун? – застегнув брюки на молнию, отозвался Генри Фостер. – О, это девушка великолепная. Донельзя пневматична. Удивляюсь, как это ты не отведал ее до сих пор.

– Я и сам удивляюсь, – сказал помощник Пред определителя. – Непременно отведаю. При первой же возможности.

Со своего раздевального места – в ряду напротив – Бернард услышал этот разговор и побледнел.

– Признаться, – сказала Линайна, – мне и самой это чуточку прискучивать начинает – каждый день Генри да Генри. – Она натянула левый чулок. – Ты Бернарда Маркса знаешь? – спросила она слишком уж нарочито-небрежным тоном.

– Ты хочешь с Бернардом? – вскинулась Фанни.

– А что? Бернард ведь альфа-плюсовик. К тому же он приглашает меня слетать с ним в дикарский заповедник – в индейскую резервацию. А я всегда хотела побывать у дикарей.

– Но ведь у Бернарда дурная репутация!

– А мне что за дело до его репутации?

– Говорят, он гольфа не любит.

– Говорят, говорят, – передразнила Линайна.

– И потом он большую часть времени проводит нелюдимо – один, – с сильнейшим отвращением сказала Фанни.

– Ну, со мной-то он не будет один. И вообще, отчего все к нему так по-свински относятся? По-моему, он милый. – Она улыбнулась, вспомнив, как до смешного робок он был в разговоре. Почти испуган – как будто она Главноуправитель мира, а он – дельта-минусовик из машинной обслуги.

– Поройтесь-ка в памяти, – сказал Мустафа Монд. – Наталкивались ли вы хоть раз на непреодолимые препятствия?

Студенты ответили молчанием, означавшим, что нет, не наталкивались.

– А приходилось ли кому-нибудь из вас долгое время пребывать в этом промежутке между позывом и его удовлетворением?

– У меня… – начал один из юнцов и замялся.

– Говорите же, – сказал Директор. – Его фордейшество ждет.

– Мне однажды пришлось чуть не месяц ожидать, пока девушка согласилась.

– И, соответственно, желание усилилось?

– До невыносимости!

– Вот именно, до невыносимости, – сказал Главноуправитель. – Наши предки были так глупы и близоруки, что когда явились первые преобразователи и указали путь избавления от этих невыносимых эмоций, то их не желали слушать.

«Точно речь о бараньей котлете, – скрипнул зубами Бернард. – «Не отведал, отведаю». Как будто она кусок мяса. Низводят ее до уровня бифштекса… Она сказала мне, что подумает, что даст до пятницы ответ. О Господи Форде. Подойти бы да в физиономию им со всего размаха, да еще раз, да еще».

– Я тебе настоятельно ее рекомендую, – говорил между тем Генри Фостер приятелю.

– Взять хоть эктогенез. Пфитцнер и Кавагучи разработали весь этот внетелесный метод размножения. Но правительства и во внимание его не приняли. Мешало нечто, именовавшееся христианством. Женщин и дальше заставляли быть живородящими.

– Он же страшненький! – сказала Фанни.

– А мне нравится, как он выглядит.

– И такого маленького роста, – поморщилась Фанни. (Низкорослость – типичный мерзкий признак низших каст.)

– А по-моему, он милый, – сказала Линайна. – Его так и хочется погладить. Ну, как котеночка.

Фанни брезгливо сказала:

– Говорят, когда он еще был в бутыли, кто-то ошибся – подумал, он гамма, и влил ему спирту в кровезаменитель. Оттого он и щуплый вышел.

– Вздор какой! – возмутилась Линайна.

– В Англии запретили даже обучение во сне. Было тогда нечто, именовавшееся либерализмом. Парламент (известно ли вам это старинное понятие?) принял закон против гипнопедии. Сохранились архивы парламентских актов. Записи речей о свободе британского подданного. О праве быть неудачником и горемыкой. Неприкаянным, неприспособленным к жизни.

– Да что ты, дружище, я буду только рад. Милости прошу. – Генри Фостер похлопал друга по плечу. – Ведь каждый принадлежит всем остальным.

«По сотне повторений три раза в неделю в течение четырех лет, – презрительно подумал Бернард; он был специалист-гипнопед. – Шестьдесят две тысячи четыреста повторений – и готова истина. Идиоты!»

– Или взять систему каст. Постоянно предлагалась – и постоянно отвергалась. Мешало нечто, именовавшееся демократией. Как будто равенство людей заходит дальше физико-химического равенства.

* * *

– А я все равно полечу с ним, – сказала Линайна.

«Ненавижу, ненавижу, – кипел внутренне Бернард. – Но их двое, они рослые, они сильные».

– Девятилетняя война началась в 141 году Эры Форда.

– Все равно, даже если бы ему и правда влили тогда спирту в кровезаменитель.

– Фосген, хлорпикрин, йод-уксусный этил, дифенилцианарсин, слезоточивый газ, иприт. Не говоря уже о синильной кислоте.

– А никто не подливал, неправда и не верю.

– Вообразите гул четырнадцати тысяч самолетов, налетающих широким фронтом. Сами же разрывы бомб, начиненных сибирской язвой, звучали на Курфюрстендамм и в восьмом парижском округе не громче бумажной хлопушки.

– А потому что хочу побывать в диком заповеднике.

– CH

C

H

(NO

)

+Hg(CNO)

; и что же в сумме? Большая воронка, груда щебня, куски мяса, комки слизи, нога в солдатском башмаке летит по воздуху и – шлеп! – приземляется среди ярко-красных гераней, так пышно цветших в то лето.

– Ты неисправима, Линайна, – остается лишь махнуть рукой.

– Восточный способ заражать водоснабжение был особенно остроумен.

Повернувшись друг к дружке спиной, Фанни и Линайна продолжали одеваться уже молча.

– Девятилетняя война, Великий экономический крах. Выбор был лишь между всемирной властью и полным разрушением. Между стабильностью и…

– Фанни Краун тоже девушка приятная, – сказал помощник Предопределителя.

В Питомнике уже отдолбили основы кастового самосознания, голоса теперь готовили будущего потребителя промышленных товаров. «Я так люблю летать, – шептали голоса, – я так люблю летать, так люблю носить все новое, так люблю…»

– Конечно, сибирская язва покончила с либерализмом, но все же нельзя было строить общество на принуждении.

– Но Линайна гораздо пневматичней. Гораздо, гораздо.

* * *

– А старая одежда – бяка, – продолжалось неутомимое нашептывание. – Старье мы выбрасываем. Овчинки не стоят починки. Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, лучше…

– Править надо с умом, а не кнутом. Не кулаками действовать, а на мозги воздействовать. Чтоб заднице не больно, а привольно. Есть у нас опыт: потребление уже однажды обращали в повинность.

– Вот я и готова, – сказала Линайна; но Фанни по-прежнему молчала, не глядела. – Ну, Фанни, милая, давай помиримся.

– Каждого мужчину, женщину, ребенка обязали ежегодно потреблять столько-то. Для процветания промышленности. А вызвали этим единственно лишь…

– Чем старое чинить, лучше новое купить. Прорехи зашивать – беднеть и горевать; прорехи зашивать – беднеть и…

– Не сегодня-завтра, – раздельно и мрачно произнесла Фанни, – твое поведение доведет тебя до беды.

– …гражданское неповиновение в широчайшем масштабе. Движение за отказ от потребления. За возврат к природе.

* * *

– Я так люблю летать, я так люблю летать.

– За возврат к культуре. Даже к культуре, да-да. Ведь, сидя за книгой, много не потребишь.

– Ну, как я выгляжу? – спросила Линайна. На ней был ацетатный жакет бутылочного цвета, с зеленой вискозной опушкой на воротнике и рукавах.

– Уложили восемьсот сторонников простой жизни на Голдерс-Грин – скосили пулеметами.

– Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, лучше новое купить.

Зеленые плисовые шорты и белые, вискозной шерсти, чулочки до колен.

– Затем устроили Мор книгочеев: переморили горчичным газом в читальне Британского музея две тысячи человек.

Бело-зеленый жокейский картузик с затеняющим глаза козырьком. Туфли на Линайне ярко-зеленые, отлакированные.

– В конце концов, – продолжал Мустафа Монд, – Главноуправители поняли, что насилием не многого добьешься. Хоть и медленней, но несравнимо верней другой способ – способ эктогенеза, формирования рефлексов и гипнопедии…

А вокруг талии – широкий, из зеленого искусственного сафьяна, отделанный серебром пояс-патронташ, набитый уставным комплектом противозачаточных средств (ибо Линайна не была неплодой).

– Применили наконец открытия Пфитцнера и Кавагучи. Широко развернута была агитация против живородящего размножения...

– Прелестно! – воскликнула Фанни в восторге. Она не умела долго противиться чарам Линайны. – А какой дивный мальтузианский пояс!

– И одновременно начат поход против Прошлого, закрыты музеи, взорваны исторические памятники (большинство из них, слава Форду, и без того уже сровняла с землей Девятилетняя война); изъяты книги, выпущенные до 150 года Э. Ф.

– Обязательно и себе такой достану, – сказала Фанни.

– Были, например, сооружения, именовавшиеся пирамидами.

– Мой старый чернолаковый наплечный патронташ...

* * *

– И был некто, именовавшийся Шекспиром. Вас, конечно, не обременяли всеми этими наименованиями.

– Просто стыдно надевать мой чернолаковый.

– Таковы преимущества подлинно научного образования.

– Овчинки не стоят починки, овчинки не стоят…

– Дату выпуска первой модели Т Господом нашим Фордом…

– Я уже чуть не три месяца его ношу.

– …избрали начальной датой Новой Эры.

– Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое…

– Как я уже упоминал, было тогда нечто, именовавшееся христианством.

– …лучше новое купить.

– Мораль и философия недопотребления…

– Люблю новое носить, люблю новое носить, люблю…

* * *

– …была существенно необходима во времена недопроизводства; но в век машин, в эпоху, когда люди научились связывать свободный азот воздуха, недопотребление стало прямым преступлением против общества.

– Мне его Генри Фостер подарил.

– У всех крестов спилили верх – преобразовали в знаки Т. Было тогда некое понятие, именовавшееся Богом.

– Это настоящий искусственный сафьян.

– Теперь у нас Мировое Государство. И мы ежегодно празднуем День Форда, мы устраиваем вечера песнословия и сходки единения.

«Господи Форде, как я их ненавижу», – думал Бернард.

– Было нечто, именовавшееся Небесами; но тем не менее спиртное пили в огромном количестве.

«Как бифштекс, как кусок мяса».

– Было некое понятие – душа и некое понятие – бессмертие.

– Пожалуйста, узнай у Генри, где он его достал.

* * *

– Но тем не менее употребляли морфий и кокаин.

«А хуже всего то, что она и сама думает о себе как о куске мяса».

– В 178 году Э. Ф. были соединены усилия и финансированы изыскания двух тысяч фармакологов и биохимиков.

– А хмурый у малого вид, – сказал помощник Предопределителя, кивнув на Бернарда.

– Через шесть лет был налажен уже широкий выпуск. Наркотик получился идеальный.

– Давай-ка подразним его.

– Успокаивает, дает радостный настрой, вызывает приятные галлюцинации.

– Хмуримся, Бернард, хмуримся. – От хлопка по плечу Бернард вздрогнул, поднял глаза. Это Генри Фостер, скотина фордова. – Грамм сомы принять надо.

– Все плюсы христианства и алкоголя – и ни единого их минуса.

«Убил бы скотину». Но вслух он сказал только:

– Спасибо, не надо, – и отстранил протянутые таблетки.

– Захотелось, и тут же устраиваешь себе сом отдых – отдых от реальности, – и голова с похмелья не болит потом, и не засорена никакой мифологией.

– Да бери ты, – не отставал Генри Фостер, – бери.

– Это практически обеспечило стабильность.

– «Сомы грамм – и нету драм», – черпнул помощник Пред определителя из кладезя гипнопедической мудрости.

– Оставалось лишь победить старческую немощь.

– Да катитесь вы от меня! – взорвался Бернард.

– Скажи пожалуйста, какие мы горячие.

– Половые гормоны, соли магния, вливание молодой крови…

– К чему весь тарарам, прими-ка сомы грамм. – И, посмеиваясь, они вышли из раздевальной.

– Все телесные недуги старости были устранены. А вместе с ними, конечно…

– Так не забудь, спроси у него насчет пояса, – сказала Фанни.

* * *

– А с ними исчезли и все старческие особенности психики. Характер теперь остается на протяжении жизни неизменным.

– …до темноты успеть сыграть два тура гольфа с препятствиями. Надо лететь.

– Работа, игры – в шестьдесят лет наши силы и склонности те же, что были в семнадцать. В недобрые прежние времена старики отрекались от жизни, уходили от мира в религию, проводили время в чтении, в раздумье – сидели и думали!

«Идиоты, свиньи!» – повторял про себя Бернард, идя по коридору к лифту.

– Теперь же – настолько шагнул прогресс – старые люди работают, совокупляются, беспрестанно развлекаются; сидеть и думать им некогда и недосуг, – а если уж не повезет и в сплошной череде развлечений обнаружится разрыв, расселина, то ведь всегда есть сома, сладчайшая сома: принял полграмма – и получай небольшой сомотдых; принял грамм – нырнул в сомотдых вдвое глубже; два грамма унесут тебя в грезу роскошного Востока, а три умчат к луне на блаженную темную вечность. А возвратясь, окажешься уже на той стороне расселины – и снова ты на твердой и надежной почве ежедневных трудов и утех, снова резво порхаешь от ощущалки к ощущалке, от одной упругой девушки к другой, от электромагнитного гольфа к…

– Уходи, девочка! – прикрикнул Директор сердито. – Уходи, мальчик! Не видите разве, что мешаете его фордейшеству? Найдите себе другое место для эротических игр.

– Пустите детей приходить ко мне, – произнес Главноуправитель.

Величаво, медленно, под тихий гул машин, продвигались конвейеры – на тридцать три сантиметра в час. Мерцали в красном сумраке бессчетные рубины.

Глава четвертая

I

Лифт был заполнен мужчинами из альфа-раздевален, и Линайну встретили дружеские, дружные улыбки и кивки. Ее в обществе любили; почти со всеми с ними – с одним раньше, с другим позже – провела она ночь.

Милые ребята, думала она, отвечая на приветствия. Чудные ребята! Жаль только, что Джордж Эдзел лопоух (быть может, ему крошечку лишнего впрыснули гормона паращитовидки на 328-м метре?). А взглянув на Бенито Гувера, она невольно вспомнила, что в раздетом виде он, право, чересчур уж волосат.

Глаза ее чуть погрустнели при мысли о чернокудрявости Гувера, она отвела взгляд – и увидела в углу щуплую фигуру и печальное лицо Бернарда Маркса.

– Бернард! – Она подошла к нему. – А я тебя ищу. – Голос ее раздался звонко, покрывая гудение скоростного, идущего вверх лифта. Мужчины с любопытством оглянулись. – Я насчет нашей экскурсии в Нью-Мексико. – Уголком глаза она увидела, что Бенито Гувер удивленно открыл рот. «Удивляется, что не с ним горю желанием повторить поездку», – подумала она с легкой досадой. Затем вслух еще горячей продолжала: – Прямо мечтаю слетать на недельку с тобой в июле. (Как бы ни было, она открыто демонстрирует сейчас, что неверна Генри Фостеру. На радость Фанни – хотя новым партнером будет все же Бернард.) То есть, – Линайна подарила Бернарду самую чарующе-многозначительную из своих улыбок, – если ты меня еще не расхотел. – Бледное лицо Бернарда залилось краской. «С чего он это?» – подумала она, озадаченная и в то же время тронутая этим странным свидетельством силы ее чар.

– Может, нам бы об этом потом, не сейчас, – пробормотал он, запинаясь от смущения.

«Как будто я что-нибудь стыдное сказала, – недоумевала Линайна. – Так сконфузился, точно я позволила себе непристойную шутку – спросила, кто его мать, или тому подобное».

– Не здесь, не при всех… – Он смолк, совершенно потерявшись.

Линайна рассмеялась хорошим, искренним смехом.

– Какой же ты потешный! – сказала она, от души веселясь. – Только по крайней мере за неделю предупредишь меня, ладно? – продолжала она, отсмеявшись. – Мы ведь «Синей Тихоокеанской» полетим? Она с Черинг-Тийской башни отправляется? Или из Хэмпстеда? – Не успел Бернард ответить, как лифт остановился.

– Крыша! – объявил скрипучий голосок.

Лифт обслуживало обезьяноподобное существо, одетое в черную форменную куртку минус-эпсилон-полукретина. – Крыша!

Лифтер распахнул дверцы. В глаза ему ударило сияние погожего летнего дня, он встрепенулся, заморгал.

– О-о, крыша! – повторил он восхищенно. Он как бы очнулся внезапно и радостно от глухой, мертвящей спячки. – Крыша!

Поднявши свое личико к лицам пассажиров, он заулыбался им с каким-то собачьим обожанием и надеждой. Те вышли из лифта переговариваясь, пересмеиваясь. Лифтер глядел им вслед.

– Крыша? – произнес он вопросительно.

Тут послышался звонок, и с потолка кабины, из динамика, зазвучала команда, очень тихая и очень повелительная:

– Спускайся вниз, спускайся вниз. На девятнадцатый этаж. Спускайся вниз. На девятнадцатый этаж. Спускайся…

Лифтер захлопнул дверцы, нажал кнопку и в тот же миг канул в гудящий сумрак шахты, в сумрак обычной своей спячки.

Тепло и солнечно было на крыше. Успокоительно жужжали пролетающие вертопланы; рокотали ласково и густо ракетопланы, невидимо несущиеся в ярком небе, километрах в десяти над головой. Бернард набрал полную грудь воздуха. Устремил взгляд в небо, затем на голубые горизонты, затем – на Линайну. – Красота какая! – Голос его слегка дрожал. Она улыбнулась ему задушевно, понимающе.

– Погода просто идеальная для гольфа, – упоенно молвила она. – А теперь, Бернард, мне надо лететь. Генри сердится, когда я заставляю его ждать. Значит, сообщишь мне заранее о дате поездки. – И, приветно махнув рукой, она побежала по широкой плоской крыше к ангарам. Бернард стоял и глядел, как мелькают, удаляясь, белые чулочки, как проворно разгибаются, сгибаются – раз-два, раз-два – загорелые коленки и плавней, колебательней движутся под темно-зеленым жакетом плисовые, в обтяжку, шорты. На лице Бернарда выражалось страдание.

– Ничего не скажешь, хороша, – раздался за спиной у него громкий и жизнерадостный голос.

Бернард вздрогнул, оглянулся. Над ним сияло красное щекастое лицо Бенито Гувера – буквально лучилось дружелюбием и сердечностью. Бенито славился своим добродушием. О нем говорили, что он мог бы хоть всю жизнь прожить без сомы. Ему не приходилось, как другим, глушить приступы дурного или злого настроения. Для Бенито действительность всегда была солнечна.

– И пневматична жутко! Но послушай, – продолжал Бенито посерьезнев, – у тебя вид какой хмурый! Таблетка сомы, вот что тебе нужно. – Из правого кармана брюк он извлек флакончик. – Сомы грамм – и нету др… Куда ж ты?

Но Бернард, отстранившись, торопливо шагал уже прочь.

Бенито поглядел вслед, подумал озадаченно: «Что это с парнем творится?» – покачал головой и решил, что Бернарду и впрямь, пожалуй, влили спирту в кровезаменитель. «Видно, повредили мозг бедняге».

Он спрятал сому, достал пачку жевательной секс-гормональной резинки, сунул брикетик за щеку и неторопливо двинулся к ангарам, жуя на ходу.

Фостеру выкатили уже из ангара вертоплан, и, когда Линайна подбежала, он сидел в кабине, ожидая. Она села рядом.

– На четыре минуты опоздала, – кратко констатировал Генри. Запустил моторы, включил верхние винты. Машина взмыла вертикально. Генри нажал на акселератор; гудение винтов из густого шмелиного стало осиным, истончилось затем в комариный писк; тахометр показывал, что скорость подъема равна почти двум километрам в минуту. Лондон шел вниз, уменьшаясь. Еще несколько секунд – и огромные плосковерхие здания обратились в кубистические подобия грибов, торчащих из садовой и парковой зелени. Среди них был гриб повыше и потоньше – это Черинг-Тийская башня взносила на тонкой ноге свою бетонную тарель, блестящую на солнце.

Как дымчатые торсы сказочных атлетов, висели в синих высях сытые громады облаков. Внезапно из облака выпала, жужжа, узкая алого цвета букашка и устремилась вниз.

– «Красная Ракета» прибывает из Нью-Йорка, – сказал Генри. Взглянул на часики, прибавил: – На семь минут запаздывает, – и покачал головой. – Эти атлантические линии возмутительно непунктуальны.

Он снял ногу с акселератора. Шум лопастей понизился на полторы октавы – пропев снова осой, винты загудели шершнем, шмелем, хрущом и, еще басовей, жуком-рогачом. Подъем замедлился; еще мгновение – и машина повисла в воздухе. Генри двинул от себя рычаг; щелкнуло переключение. Сперва медленно, затем быстрей, быстрей завертелся передний винт и обратился в зыбкий круг. Все резче засвистел в расчалках ветер. Генри следил за стрелкой; когда она коснулась метки «1200», он выключил верхние винты. Теперь машину несла сама уж поступательная тяга.

Линайна глядела в смотровое окно у себя под ногами, в полу. Они пролетали над шестикилометровой парковой зоной, отделяющей Лондон-Центр от первого кольца пригородов-спутников. Зелень кишела копошащимися куцыми фигурками. Между деревьями густо мелькали, поблескивали башенки центробежной лапты. В районе Шепардс-Буш две тысячи бета-минусовых смешанных пар играли в теннис на римановых поверхностях. Не пустовали и корты для эскалаторного хэндбола, с обеих сторон окаймляющие дорогу от Ноттинг-Хилла до Уилсдена. На Илингском стадионе дельты проводили гимнастический парад и праздник песнословия.

– Какой у них гадкий цвет – хаки, – выразила вслух Линайна гипнопедический предрассудок своей касты.

В Хаунслоу на семи с половиной гектарах раскинулась ощущальная киностудия. А неподалеку армия рабочих в хаки и черном обновляла стекловидное покрытие Большой западной магистрали. Как раз в этот момент открыли летку одного из передвижных плавильных тиглей. Слепяще раскаленным ручьем тек по дороге каменный расплав; асбестовые тяжкие катки двигались взад-вперед; бело клубился пар из-под термозащищенной поливальной цистерны.

Целым городком встала навстречу фабрика Телекорпорации в Брентфорде.

– У них, должно быть, сейчас пересменка, – сказала Линайна.

Подобно тлям и муравьям, роились у входов лиственно-зеленые гамма-работницы и черные полукретины – или стояли в очередях к монорельсовым трамваям. Там и сям в толпе мелькали темно-красные бета-минусовики. Кипело движение на крыше главного здания: одни вертопланы садились, другие взлетали.

– А ей-форду, хорошо, что я не гамма, – проговорила Линайна.

Десятью минутами поздней, приземлившись в Сток-Поджес, они начали уже свой первый круг гольфа с препятствиями.

II

Бернард торопливо шел по крыше, пряча глаза, – если и встречался взглядом с кем-либо, то бегло, тут же снова потупляясь. Шел, точно за ним погоня и он не хочет видеть преследователей – а вдруг они окажутся еще враждебней даже, чем ему мнится, и тяжелее тогда станет ощущение какой-то вины и еще беспомощнее одиночество.

«Этот несносный Бенито Гувер!» А ведь Гувера не злоба толкала, а добросердечие. Но положение от этого лишь намного хуже. Не желающие зла точно так же причиняют ему боль, как и желающие. Даже Линайна приносит страдание. Он вспомнил те недели робкой нерешительности, когда он глядел издали и тосковал, не отваживаясь подойти. Что, если напорешься на унизительный, презрительный отказ? Но если скажет «да» – какое счастье! И вот Линайна сказала «да», а он по-прежнему несчастлив – несчастлив потому, что она нашла погоду «идеальной для гольфа», что бегом побежала к Генри Фостеру, что он, Бернард, показался ей «потешным» из-за нежелания при всех говорить о самом интимном. Короче, потому несчастен, что она вела себя как всякая здоровая и добродетельная жительница Англии, а не как-то иначе, странно, ненормально.

Он открыл двери своего ангарного отсека и подозвал двух лениво сидящих дельта-минусовиков из обслуживающего персонала, чтобы выкатили вертоплан на крышу. Персонал ангаров составляли близнецы из одной группы Бокановского – все тождественно маленькие, черненькие и безобразненькие. Бернард отдавал им приказания резким, надменным, даже оскорбительным тоном, к какому прибегает человек, не слишком уверенный в своем превосходстве. Иметь дело с членами низших каст было Бернарду всегда мучительно. Правду ли, ложь представляли слухи насчет спирта, по ошибке влитого в его кровезаменитель (а такие ошибки случались), но физические данные у Бернарда едва превышали уровень гаммовика. Бернард был на восемь сантиметров ниже, чем определено стандартом для альф, и соответственно щуплей нормального. При общении с низшими кастами он всякий раз болезненно осознавал свою невзрачность. «Я – это я; уйти бы от себя». Его мучило острое чувство неполноценности. Когда глаза его оказывались вровень с глазами дельтовика (а надо бы сверху вниз глядеть), он неизменно чувствовал себя униженным. Окажет ли ему должное уважение эта тварь? Сомнение его терзало. И не зря. Ибо гаммы, дельты и эпсилоны приучены были в какой-то мере связывать кастовое превосходство с крупнотелостью. Да и во всем обществе чувствовалось некоторое гипнопедическое предубеждение в пользу рослых,

крупных. Отсюда смех, которым женщины встречали предложения Бернарда; отсюда шуточки мужчин, его коллег. Вследствие насмешек он ощущал себя чужим, а стало быть, и вел себя как чужой – и этим усугублял предубеждение против себя, усиливал презрение и неприязнь, вызываемые его щуплостью. Что, в свою очередь, усиливало его чувство одиночества и чуждости. Из боязни наткнуться на неуважение он избегал людей своего круга, а с низшими вел себя преувеличенно гордо. Как жгуче завидовал он таким, как Генри Фостер и Бенито Гувер! Им-то не надо кричать для того, чтобы эпсилон исполнил приказание; для них повиновение низших каст само собою разумеется; они в системе каст, словно рыбы в воде, – настолько дома, в своей уютной, благодетельной стихии, что не ощущают ни ее, ни себя в ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/oldos-haksli/o-divniy-noviy-mir-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити